

II. Контекст, развитие и значение Евромайдана: краткие наблюдения и толкования (4)

Александр Забирко

Нарративы конфликта и концептуализация войны в Украине: между Шмиттом и Кельзенем¹

Продолжающаяся война в Украине является не только вооруженным конфликтом, но и столкновением искаженных восприятий, мифов и эмоционально нагруженных нарративов, артикулируемых как с российской, так и с украинской стороны, но также активно используемых в западном экспертном сообществе и масс-медиа. Поэтому, говоря о событиях в Украине последних двух лет, необходимо не упускать из виду и те риторические стратегии, которые активно используются для интерпретации и категоризации этого конфликта.

1.

Дебаты по поводу так называемого «украинского кризиса» продемонстрировали, что немалая часть европейского общества все еще понимает под мировой политикой прежде всего политику силы и диктата – иными словами, такую форму международных отношений, при которой суверенные политические сообщества защищают свои собственные интересы, угрожая друг другу военной или экономической агрессией. При этом единственным способом удержания этой потенциально неуправляемой «силы» в более-менее приемлемых, цивилизованных границах является предполагаемая готовность конфликтующих сторон к инициированию диалога и поиску консенсуса даже в тех случаях, когда консенсус может означать лишь очевидные уступки агрессору.

Противоположная точка зрения, которая не менее часто высказывалась в отношении ситуации в Украине, рассматривает существующие геополитические противоречия и конфликты не как постоянную борьбу между нациями и культу-

¹ В основу данной статьи лег доклад «The Narratives of Conflict: How We Conceptualize the War in Ukraine», прочитанный автором в Королевском Институте Эль Кано (Мадрид) в марте 2015 года (см. https://www.youtube.com/watch?v=2j7HfbcnZ_s).

рами, а скорее анализирует их с правовой и гражданской перспективы, или, в более узком смысле – с перспективы международного права, в рамках которого возможно принципиальное разделение действий на правовые и противоправные. В центрально-европейской, точнее – немецкой интеллектуальной традиции такое противопоставление обычно связывают с именами Карла Шмитта (1888-1985) и Ганса Кельзена (1881-1973).

Первоначальные идеи Шмитта, одного из основоположников классической геополитики, испытали в последние десятилетия значительную терминологическую трансформацию, но в целом остались неизменными и в работах его последователей. Одним из основных аргументов здесь является предположение, что политика должна подчиняться определенным императивам, призванным для поддержания «порядка континентальных пространств» (нем. *Großraumordnung*), то есть организации стран в большие территориальные блоки под управлением и политическим контролем нескольких «руководящих» государств. Каждое такое доминантное «государство-ядро» (нем. *Kernstaat*) обладает свободой действий в рамках подчиненного ему географического пространства и организует это пространство экономически и политически.

Großraumordnung Карла Шмитта как единица описания мира нашла свое второе воплощение в концепции «политических орбит» Уолтера Липпманна, а позднее – в «культурных зонах» Сэмюэля Хантингтона, на которые эти уважаемые исследователи в конце концов и разделили всю планету.

С другой стороны, правовой позитивизм Кельзена – одного из юридических архитекторов ООН – не только пытается ограничить (гео)политику нормами права, но также провозглашает универсальный характер таких норм и положений (например, прав человека), требуя при этом их всеобщего, универсального соблюдения, независимо от культурного или идеологического бэкграунда отдельных политических деятелей или целых государств. Кельзеновская доктрина «мира через право» (англ. *peace through law*) нашла свое воплощение во множестве международных правовых организаций, судов и трибуналов. Однако, та же доктрина парадоксальным образом легитимировала древний принцип справедливой войны (лат. *iustum bellum*) как крайнего способа установления правопорядка (т.е., если какая-то страна нарушила закон, то законность может быть восстановлена военным способом как *ultima ratio*).

«Короткий» 20 век и особенно эра Холодной войны стали наглядной демонстрацией сосуществования этих двух теоретических концепций. Создание ООН и международных правовых институтов происходило в эпоху, когда две враждебные политические «орбиты» постоянно балансировали между периодами эскалаций и «разрядок». В то же время, приверженность коммунистических режимов принципам международного права и прав человека была все это время предметом определенного сомнения, что в свою очередь создавало впечатление, будто потенциально универсальные принципы «мира через право» работали только в

странах Запада, в то время как уже за окном Центральной Европы начинался принципиально другой мир – мир геополитики.

Обращаясь здесь к украинской проблематике, можно утверждать, что и в сегодняшней Европе «украинский вопрос» стал не в последнюю очередь выбором аналитической парадигмы и определенного языка анализа, предлагаемых каждой из этих двух концепций. Задавая вопрос о том, почему в Европе геополитическое видение мира остается столь распространенным и устойчивым, когда речь заходит о ситуации в Украине, нужно, пожалуй, отдавать себе отчет в том, что Восточная Европа традиционно понималась как регион, где законы и правовые нормы все равно не работают должным образом, поэтому кажется вполне логичным оставить их в стороне при анализе любых конфликтов в этой части континента.

Другим не менее важным вопросом, который, по крайней мере частично, может служить объяснением устойчивости геополитической перспективы при рассмотрении «украинского кризиса», является общая проблема формирования европейской идентичности. На протяжении столетий Европа определяла свою сущность через противопоставление разным восточным империям (Персии, Византии, Османской империи и, в конце концов, Российской империи, включая и ее советскую ипостась)². Более того, за последние два десятилетия Европейский Союз расширялся исключительно в восточном направлении (а не, скажем, в направлении Африки или Среднего Востока), что влекло за собой мысль о том, что именно в Восточной Европе европейский проект может достичь своей географической и геополитической завершенности. Однако, сама эта завершенность может быть достигнута лишь тогда, когда, расширяясь на восток, Европа встретится со своей противоположностью – Не-Европой.

Очевидно, что путинская Россия на данный момент находится именно на пути к тому, чтобы стать чем-то вроде Анти-Европы – сообщества, чей коллективный образ формируется при помощи геополитической и конспирологической риторики и иллюстраций собственной военной мощи. Официальная риторика Кремля изображает Россию абсолютной противоположностью ЕС в плане социальных и политических норм, в трактовке концепции «сильного» и суверенного государства, а также в понимании собственной цивилизационной миссии. Именно здесь самовосприятие России выгодно «компенсирует» европейский дефицит идентичности: Россия как «государство-ядро» с «законными интересами» внутри собственной «культурной орбиты» перестает быть таким же государством, как любое другое на европейском континенте, и становится противоположностью Европы.

² Византия и Российская империя (особенно после петровских реформ), тоже были частью Европы – *прим. ред.*

2.

Какое отношение все это имеет к Украине? Во-первых, столкновение двух парадигм – «геополитической» и «правовой» – решающим образом влияет на интерпретацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС – документа, который, согласно общепринятому мнению, и дал начало всему «украинскому кризису». Оставаясь внутри геополитической аргументации, мы будем склонны определять это соглашение не как один из множества этапов европейской интеграции, основанной на общей системе правил (rule-based integration) и создания общих интересов, а скорее как преднамеренную интервенцию Брюсселя в российскую «культурную зону».

Эта перспектива уже открывает дверь в мир «чистой» геополитики. Однако чтобы до конца принять геополитическую парадигму, необходимо мысленно сделать еще один решительный шаг, а именно – отказать Украине в роли субъекта международной политики и международного права и представить эту страну только лишь как некий объект, который должен управляться другими суверенными государствами.

Этот шаг, конечно, остается довольно рискованным, учитывая, что Украина является членом десятков международных организаций; тем не менее, многие аналитики, обозреватели, эксперты и политические деятели все же довольно успешно и убедительно лишают Украину ее субъектности, используя при этом определенные тропы и метафоры, которые в совокупности оказывают определяющее влияние на весь дискурс так называемого «украинского кризиса».

Речь здесь идет, прежде всего, о метафоре «расколота́й страны», которая укоренилась и в самой Украине в качестве некоего стереотипа, воплощенного в формуле «двух Украин». Согласно этой формуле основополагающая линия разграничения проходит между национально сознательной (преимущественно украиноговорящей) и «креолизированной» (в основном русскоговорящей) Украиной. Помимо этого, популярный дискурс о «двух Украинах» предполагает, что восток и запад страны имеют разные культурные особенности, основанные на различных культурах памяти, а также разные, часто взаимоисключающие, ценности.

Нарратив «двух Украин», предполагающий существование двух отдельных культурно-политических сообществ внутри одного украинского государства, сопровождал Украину с самого начала ее независимости (т.е. с начала 1990-х годов). Однако особенно популярной идея украинского раскола стала во время Оранжевой революции 2004 года, после которой международные масс-медиа все чаще стали описывать Украину как глубоко разделенное государство, в котором «проевропейский», либеральный запад живет в состоянии постоянного конфликта с ностальгирующим по Советскому Союзу, пророссийским востоком.

Тесно связанным с метафорой о «двух Украинах» оказывается и широко распространенный троп об Украине как о несостоявшемся государстве (англ. failed

state). Эта связь является очевидной, поскольку ярлык «несостоявшегося государства» в украинском случае отсылает не столько к теме дисфункций государственного управления и коррупции (ведь похожие примеры можно найти и во многих других государствах, в том числе и в некоторых странах ЕС), сколько именно к региональному разделению на запад и восток, которое, по общему мнению, иллюстрирует отсутствие национального сплочения или нации как таковой. А там, где нет нации, там а ргіогі не может быть национального государства, следовательно, такое государство считается «не состоявшимся» в буквальном смысле.

Метафора «двух Украин» оказалась крайне популярной и спустя 10 лет после Оранжевой революции, позволяя обозревателям и экспертам представлять противостояние на Майдане зимой 2013-2014 гг. как конфликт между русскоговорящим востоком и украиноговорящим западом страны. Сегодня такая трактовка событий активно используется и Россией, оправдывающей свое плохо скрываемое вторжение в Украину необходимостью защитить русскоязычное население от якобы националистического украинского правительства и его шовинистически настроенных сторонников.

Здесь мы подходим к еще одной точке соприкосновения между западным «геополитическим» видением мира и официальной риторикой России. Ведь стоит только признать, что Европа вмешалась в российскую «региональную орбиту» и согласиться с тем, что Украина – это ненастоящее государство, а украинцы – ненастоящая нация, чтобы мысленно принять геополитическую парадигму Кремля, являющуюся своего рода антитезисом европейской системы норм и правил.

3.

Вульгаризированная формула «двух Украин» является типично «геополитическим» понятием в той мере, в которой она уравнивает язык, национальную идентичность, регион проживания и политическую ориентацию всех украинских граждан, отвергая при этом гражданское самоопределение человека и сводя его/ее идентичность к некоторым «объективным», врожденным критериям вроде этничности, языка или расы.

Здесь, пожалуй, и кроется одно из главных заблуждений в российском понимании Украины. В отличие от других постимперских дискурсов, где абсолютно нормальным считается использование таких терминов как «English speaking countries», «deutschsprachige Länder» или «los países hispanohablantes», в современной России существует очень ограниченное понимание пост-имперского характера русского языка и культуры. Вследствие этого такое понятие как «русскоязычные страны» до сих пор остается нонсенсом, в то время как в официальной риторике Кремля носители русского языка, живущие за границей, обычно

фигурируют в качестве «соотечественников», несмотря на их иностранное гражданство.

В то же время, отказывая Украине в собственной национальной идентичности, Россия сделала попытку предложить взамен некую альтернативную идентичность, которая в значительной степени основана на концепции «русского мира». В 2000-х годах эта концепция получила быстрое развитие от маргинального интеллектуального дискурса до новой идеологии, поддерживаемой российскими властями и Русской православной церковью. «Русский мир» в целом означает некое наднациональное сообщество, объединенное русской культурой и языком, исторической памятью и традиционными ценностями, православной верой и лояльностью к метафизическому и трансцендентному российскому государству (которое может подразумевать под собой как Российскую Империю, так и СССР и сегодняшнюю Российскую Федерацию).

Чтобы географически очертить эту «другую Украину», российские масс-медиа поначалу использовали определение «Юго-Восток», которое, однако, не вполне соответствовало исходным пропагандистским задачам, поскольку несло в себе очевидную «киевцентричность». Ситуация изменилась, когда в обиход была введена новая геоисторическая концепция «Новороссии», связывающая территории украинского Юго-Востока в один «исторический», российский регион, чье реальное существование можно было доказывать уже в том числе и военными методами. В итоге, концепции «русского мира» и «Новороссии» и легли в основу российского нарратива о «народном восстании» в восточных регионах Украины и были призваны легитимировать образование так называемых «народных республик» в Луганске и Донецке.

4.

Однако, оборотной стороной российской агрессии стала катализация украинской политической нации, создание которой не удавалось ни одному из украинских правительств, каждое из которых в той или иной степени эксплуатировало деление Украины по линии «восток-запад» для мобилизации своего электората. В то же время необходимость оборонять государство отодвинула на второй план вопросы выбора языка и культурной среды, благодаря чему и сама украинская идентичность (которая казалась неразрывно связанной с этнической принадлежностью, языком и исторической памятью) стала включать в себя политические и территориальные коннотации, становясь более открытой не только для русскоговорящих и собственно русских, но также и для украинских граждан с другим происхождением. Самым ярким примером таких перемен стали, вероятно, крымские татары – коренное мусульманское население Крыма, которое после российской оккупации в основном осталось лояльным Киеву, и сейчас в патриотиче-

ском дискурсе Украины возводится в ранг «настоящих» украинских патриотов именно благодаря, а не вопреки своей этнической и религиозной инаковости.

В свою очередь, такие понятия как «Восток», «Юго-Восток», не говоря уже о Новороссии, после года их активной пропаганды оказались не более чем риторическими клише и симулякрами. Перед лицом угрозы сепаратизма и российской агрессии различные регионы Украины стали по-разному воспроизводить, а иногда и заново изобретать свою украинскую идентичность, главным мотивом которой становилась артикуляция политической лояльности и идентификация с политическим проектом «постмайданной» Украины. Таким образом, распространенная схема фиксированного этнополитического самоопределения с четкой территориальной локализацией идентичностей была во многом опровергнута развитием событий после Майдана.

Новое гибридное понимание «украинства» основывается в большей степени на социальных и гражданских составляющих, чем на этнических, языковых или культурных компонентах. Именно этот сдвиг парадигмы, а не только свержение Януковича и его правительства, позволяет рассматривать Майдан в качестве революционного движения. Не случайно гражданские сообщества и волонтерские группы из числа бывших активистов Майдана концентрируются сейчас в гораздо большей степени на вопросах общественной безопасности, контроля местных властей и гуманитарной помощи, чем на темах языка и исторической памяти, как это было, к примеру, после Оранжевой революции.

Если обратиться к определению Бенедикта Андерсона о нации как «воображаемом сообществе», то можно взять на себя смелость утверждать, что Украину «вообразили» заново ее граждане в сотнях разрозненных и неструктурированных публичных дебатов: в масс-медиа, на улицах, площадях и не в последнюю очередь на баррикадах. В то же время этот сдвиг остался незамеченным многими зарубежными политическими аналитиками во многом потому, что сам процесс нового осмысления Украины не был частью какой-либо официальной государственной политики или определенного административного проекта, а политические элиты, занятые перераспределением власти и экономических ресурсов, не сыграли в этом процессе заметной роли.

5.

Для того, чтобы понять, что случилось с разделением страны на восток и запад, нужно в первую очередь определить, где сегодня расположен или точнее – куда сместился пресловутый «пророссийский» восток Украины. Ведь говоря сегодня об «украинском кризисе» европейские и российские СМИ на самом деле говорят о войне в Донбассе – некогда важном промышленном и угледобывающем регионе, который за последние два десятилетия пережил болезненный процесс деиндустриализации и связанный с ним кризис идентичности.

Поскольку в данном регионе индустриальная культура и пролетарский этнос, сформировавшиеся еще на волне советской модернизации, долгое время были предметом коллективной гордости и краеугольным камнем локального самосознания, массовое закрытие шахт и заводов влекло за собой не только экономические и социальные проблемы, но и выталкивало на поверхность вопросы регионального самоопределения и политической лояльности. При этом после подавления шахтерских протестов в середине 1990-х практически никаких попыток гражданского сопротивления в Донбассе не совершалось, в то время как многие моноиндустриальные города региона попросту обезлюдели, став одновременно символами промышленного упадка и социальной деградации.

Именно такая атмосфера коллапса и неопределенности способствовала превращению Донбасса в электоральный оплот Партии Регионов Виктора Януковича. При этом региону с одной стороны не хватало политического разнообразия и конкуренции, а с другой – именно он становился определенной моделью организации общества, которую региональные элиты, получив власть в Киеве, пытались реализовать и в масштабах всей страны.

Другой важной чертой идентичности Донбасса является определенное негласное, эмоциональное принятие авторитарных практик управления – местная социальная структура и образ жизни, тесно связанный с промышленным производством, способствовали развитию культа «сильной руки» как гарантии «порядка» и стабильности. По этим причинам, демократия здесь зачастую воспринималась как апология хаоса либо как враждебная идея, экспортируемая с Запада. Таким образом, многим местным жителям было гораздо легче убедить себя в том, что киевский Евромайдан стал результатом тайного заговора или орудием олигархических структур, чем поверить в саму возможность низового протестного движения. В то время как Украина, казалось, была обречена на то, чтобы в очередной раз утонуть в демократическом хаосе, российские СМИ и пророссийские общественные организации в регионе активно транспортировали образ России как оплота стабильности и социальной справедливости.

Однако, как показывают результаты опросов, проведенных в марте 2014 года, несмотря на заметное недовольство политикой «Киева», лишь относительно немногие поддерживали идею отделения региона от Украины, оставаясь в целом в рамках парадигмы украинской гражданственности³. В отличие от Крыма, где существовала ошутимая политическая и общественная поддержка сепаратизма, антиукраинский протест на Донбассе с самого начала был исключительно военной кампанией – сепаратисты взяли в руки оружие во многом потому, что не испытывали достаточной поддержки в многомиллионном регионе. В то же время,

³ Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014 года // Зеркало недели. 18 апреля 2014. http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html. Последнее посещение 26 мая 2015 года.

даже получив оружие, они вынуждены были искать поддержки у России для того, чтобы эффективно противостоять напех собранной украинской армии.

6.

Без сомнения, официальный украинский нарратив «антитеррористической операции» на Донбассе в значительной степени является риторической уловкой, скрывающей тот факт, что в рядах «террористов» в конфликте участвуют тысячи украинских граждан, однако, еще большим упрощением было бы считать этот конфликт внутри-украинским. Роль российских военных в Украине была заметной с самого начала кризиса и постепенно становилась все более очевидной по мере того, как силы местных сепаратистов оказывались недостаточными для эффективного контроля над регионом. Это привело к изменению характера конфликта в течение 2014 года. От спонсированного извне восстания на востоке Украины он перерос в ограниченный военный конфликт между Украиной и Россией, который при всех его особенностях можно классифицировать как войну, которая носит необъявленный характер и сопровождается отказом (прежде всего Россией) от использования большей части военного потенциала.

Вопрос пропорциональности использования силы всегда был одним из центральных в любой дискуссии об ограниченной войне (англ. *limited war*) и одновременно самым трудноразрешимым, поскольку уровень военного участия каждой из сторон должен не только отражать ценность объекта, за который эта война ведется, но и не вступать в противоречие с официальными нарративами, с помощью которых стороны легитимируют применение силы. В данном случае речь идет о российской версии «народного восстания» с одной стороны, и официальной позиции Украины, определяющей конфликт как «антитеррористическую операцию», с другой.

Тем не менее, ведение ограниченной войны требует некоего общего понимания о наличии пределов и границ, за которые этот конфликт не должен выходить. Это указывает на изначальные коренные противоречия в возможных целях России – между отсечением части украинской территории, которая бы эффективно контролировалась или даже могла быть аннексирована Россией, и попыткой влиять на политику украинского государства в целом с тем, чтобы предотвращать шаги Киева, противоречащие российским интересам. Это противоречие иллюстрирует «дискурсивную ловушку», в которую попадает официальный российский нарратив, что в свою очередь наполняет риторику Кремля и сепаратистских республик все новыми взаимоисключающими положениями. Так, настаивая на своей независимости от Киева и продолжая риторику «государственного строительства», ЛНР и ДНР в то же время требуют федерализации Украины, права определять ее международную политику и влиять на государственный бюджет.

Хотя в спорах за контроль над территорией решающую роль по-прежнему играет военный потенциал и огневая мощь, сам по себе контроль, тем не менее, еще не гарантирует создание функционирующих экономики и социальной сферы. В то время как города Донбасса, отвоеванные украинской армией летом 2014 года, довольно быстро вернулись к относительно нормальной жизни, «народные республики» Донецка и Луганска стали местом быстрой демодернизации и дегуманизации общества и существуют фактически без правовой системы, функционирующих органов безопасности, банковской и финансовой систем и т.д. Помимо очевидной политической и военной зависимости от России, неспособность руководства «республик» к эффективному администрированию (речь здесь идет даже не столько о создании новых государственных структур, сколько о разложении уже существовавшей административной системы) в значительной степени ставит под сомнение их субъектность в качестве своего рода «альтернативного проекта» украинской государственности. Это в свою очередь ставит вопрос о приемлемости термина «гражданская война» применительно к событиям в Донбассе.

7.

Тот факт, что российская агрессия в Крыму и Донбассе стала одновременно нарушением Устава ООН, Заключительного Акта Хельсинских соглашений и Будапештского меморандума, превращает текущую конфронтацию в Украине в гораздо более значимое событие, чем локальный конфликт где-то «по соседству с Европой». Однако, для поборников геополитического видения мира нарушение правовых актов и международных соглашений необязательно перевешивает важность «геостратегических» соображений. Например, говоря еще в сентябре 2014 года о войне в Украине, Джон Миршаймер, один из наиболее ярких представителей политического неореализма, призывал президента США «перестать слушать юристов и начать думать как стратег»⁴. Наличие такого стратегического мышления, в интерпретации Миршаймера, подразумевает, помимо всего прочего, отказ от поддержки Украины и признание того «факта», что эта страна принадлежит к сфере геополитического пространства России и ее естественной «культурной зоны».

Тем временем события в Украине если и не полностью дискредитируют такой стратегический релятивизм, то, как минимум, способствуют эрозии устоявшейся геополитической парадигмы. В частности Хантингтон, предвосхищая в далеком 1996 году цивилизационный раскол Украины, тем не менее, решительно отрицал

⁴ Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault // Foreign Affairs. 18 August 2014. <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault>. Последнее посещение 26 мая 2015 года.

возможность вооруженной конфронтации между культурно, этнически и конфессионально близкими восточнославянскими государствами⁵. Безусловно, «украинский кризис» в отличие от «югославского» не является этническим или религиозным конфликтом, но в то же время он, очевидно, не является и «конфликтом цивилизаций» или борьбой за расширение «культурных орбит». Навязывая Украине дискурс цивилизаций, «русский мир» предполагал, что русскоговорящий житель Украины автоматически выбирает именно «русскую» цивилизацию и лояльность «русскому» государству. Однако, не отказываясь от своего языка, большинство жителей украинского юго-востока отвергает саму идею такого «русского мира» как неудачную гипотезу.

С оглядкой на дебаты в прессе и экспертном сообществе все же можно выделить одну важную роль геополитической парадигмы для концептуализации «украинского кризиса», позволяя определить его в первую очередь как конфликт между теми, кто верит в «столкновение цивилизаций», и теми, кто предпочитает верить в универсальные нормы и ценности.

⁵ Huntington S. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. N.Y., 1996. P. 167.